



**Юдкин-Рипун Игорь Николаевич (I. N. Yudkin – Ripun)**, ведущий научный сотрудник, доктор искусствоведения Института культурологии Национальной Академии Художеств Украины, член-корреспондент Национальной Академии Художеств Украины (*Киев, Украина*) (*Kiev, Ukraine*); dr.iyudkin@gmail.com; ORCID.ORG/0000-0002-4616-302X

УДК 82.091

## **ПРОБЛЕМА АКТИВНОСТИ СУБЪЕКТА В КОНТЕКСТЕ СМЫСЛОВОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ ДЕТАЛЕЙ В ЛИРИКЕ Ф. И. ТЮТЧЕВА**

**Аннотация.** В статье рассматриваются превращения обозначений частностей (меронимов) в окказиональные антонимы (явление энантиосемии) и синонимы (гендиадес) в лирике Ф. И. Тютчева. Данный семантический переход связан с определением активности или пассивности субъектов (диатеза) как выражением осмысления проблематики фатализма. Переходы между созерцанием и действием определяются противопоставлением деталей.

**Ключевые слова:** энантиосемия, диатеза, гендиадес, мероним, мерология, гипоним, фатализм.

## THE PROBLEM OF A SUBJECT'S ACTIVITY WITHIN THE CONTEXT OF DETAILS' SEMANTIC POLARIZATION IN F.I. TYUTCHEV'S LYRICS

**Annotation.** The article deals with the transformations of parts' designations (meronyms) in occasional antonyms (the phenomenon of enantiosemy) and synonyms (hendiadys) in F. I. Tyutchev's lyrics. This semantic transition is connected with the determination of subjects' activity or passivity (diathesis) as the representation of the approach to the problem of fatalism. The transitions between contemplation and action are determined with the opposition of details.

**Keywords:** enantiosemy, diathesis, hendiadys, meronym, mereology, hyponym, fatalism

Ты спросишь, кто велит?  
– Всесильный Бог деталей

*(Б. Л. Пастернак, «Давай ронять слова ...», 1919)*

Как известно, натурфилософская линия немецкой философской классики, развивавшаяся русским шеллингианством и «любомудрами», составляла ту среду, от которой духовная жизнь Ф. И. Тютчева неотделима. Более того, как подчеркнул В. В. Кожин, «именно Тютчев, бывший собеседником немецкого мыслителя в течение почти пятнадцати лет, сыграл главную роль в Шеллинговом обращении к России» [4, с. 106]. Ниже коснемся одного из ключевых для шеллингианства и всей немецкой философской классики вопросов, самостоятельно подвергавшихся художественному исследованию Ф. И. Тютчевым – вопроса о субъекте, прежде всего о субъекте семантическом, как денотативном, так и коммуникативном, и присущих ему противоречиях.

Внутренняя противоречивость самого понятия субъектности выражена в известной 3-й антиномии И. Канта об объективации, согласно которой «мыслящий субъект есть в то же время свой собственный объект» [3, с. 419]. В языкознании этому соответствует явление диатезы – взаимного превращения действительного и страдательного залогов. С этой антиномией связан и «паралогизм чистого разума», согласно которому субъект ограничен и конечен вопреки потенциальной бесконечности, поскольку «все мыслящие существа сами по себе суть простые субстанции, а потому ...

необходимо имеют характер личности и сознают свое существование, обособленное от всякой материи» [3, с. 375].

Именно этот паралогизм стал предметом особой разработки у Ф. В. Й. Шеллинга, в частности, в «Мюнхенских лекциях» (1827), с которыми был знаком Ф. И. Тютчев, где утверждается, что субъект «лишь для того субъект, чтобы стать себе объектом» [13, с. 473], а потому «в качестве того, что он есть, субъект никогда не может владеть собой, ибо именно в привлечении себя он становится другим; это основное противоречие, можно сказать, несчастье, присущее всякому бытию» [13, с. 474]. Четвертью века ранее, в «Философии искусства» Шеллинга (датируемой 1799 – 1803 гг.), известной в рукописном виде С. П. Шевыреву [11, с. 5, 9], в связи с проблематикой судьбы отмечалось, что «субъект как субъект не может наслаждаться бесконечным как бесконечным, хотя к этому человек испытывает непреодолимое влечение. Здесь, следовательно, вечное противоречие» [12, с. 439]. Итак, гегелевское «несчастное сознание» выводится из того, что всякий субъект – частная сущность, отдельное, обособленное лицо и как таковое оно обречено. Заметим, что и осознание конечности собственного индивидуального бытия складывается у младенца вместе с усвоением языка, к пятилетнему возрасту.

Указанные общие вопросы субъектности имеют соответствие и в собственно языковедческой плоскости. Достаточно вспомнить понятие эргативного мышления, рассмотренного А. Ф. Лосевым в связи с эргативным грамматическим строем, который, хотя и принадлежит архаике, однако постоянно воспроизводится новыми языками: «Возьмем так называемый средний залог – *я иду, я сплю*. Где тут актив и где тут пассив? Возьмем так называемые глаголы состояния – *мне больно, мне холодно*. Ясно, что совмещение актива и пассива в современном языке – трафаретнейшая вещь» [7, с. 308]. В случае эргативного строя «активность субъекта предписана ему извне, в своем произвольном действии он есть не больше, как только чье-то орудие» [7, с. 306]. Сущность эргативного мышления состоит в том, что на место фетишизма приходит абстракция, когда «субъект вещи, отделившийся от самой вещи, есть демон» [7, с. 310], чем и определяется «момент фатализма» [7, с. 315]. Представление о таком демоне и предполагает «наличие еще особого субъекта за пределами эргативного субъекта, того, в отношении которого вам эргативный

субъект есть только орудие» [7, с. 317]. В свою очередь, эргативное мышление архаики не только способно воссоздаваться средствами, но и более того, присущая ему субъектная созерцательность оказывается важным качеством лирики в плане аспектологии. В частности, А. В. Бондарко предложил на 15 съезде славистов в Минске в 2013 г. аспект наблюдаемости или перцептивности: отмечается «интерпретация наблюдаемости ... с точки зрения ... говорящего, а также слушающего» как в коллоквиализме «Посмотри, к нам кто-то идет», чем определяется «семантика перцептивности», когда имеется актуальное настоящее, как в пушкинских строках «Кавказ подо мною...» или «На холмах Грузии...» [1].

Выявляя двойственность, совмещение пассивности и активности субъекта, эргативное мышление оказывается связанным с воссозданием также и свойственного архаическому «дологическому» мышлению (термин Л. Леви-Брюля) дуализма в его различных проявлениях, вплоть до универсальной оппозиции «космос – хаос». Этот дуализм оказывается созвучным такому родовому свойству лирики, как скрытая полемика (то, что Ю. В. Манн называл лирической оппозицией), позволяющая представить лирическую миниатюру как воссоздание перипетии драмы идей. Заметим, что при изучении некоторых интерпретаций канонической формы сонета (никогда не применявшейся Тютчевым, за единственным исключением – «Уж третий год беснуются языки ...», 1850) обнаружилось именно ее драматическое истолкование – как выдвижение тезиса и опровержение возражений против него (риторическая конфутация), т.е. как преодоление препятствия на пути к цели в перипетии [16, 17]. Естественно возникает вопрос о протагонистах и антагонистах такой коллизии при ее воссоздании в рамках лирической миниатюры. Было показано, что для выражения такого рода микроскопических конфликтов существенно обращение к лексическим средствам обозначения частных меронимам, поскольку, в противоположность гипонимам (обозначениям компонентов класса), для них варьируются цели, в которые они входят (напр., *глаз* как гипоним – орган зрения, как мероним – часть тела существа, варьируемого от насекомого до человека). Мерониму свойственна неопределенность значения, амбивалентность, обусловленная отсутствием того целого, куда он входит. Этим уже определяется пригодность меронимов для

построения ситуативных синонимов (гендиадес), как, например, в обозначении глаголов частичных действий в строке Ф. И. Тютчева «Бегут и блещут и гласят» («Весенние воды», 1830).

Но особенно интересно, что меронимы обнаруживают свойство энантиосемии – превращения в ситуативные антонимы, что особенно свойственно пословицам (напр., «не бойся улицы, бойся щели», в контексте которой *улица* и *щель* противопоставлены как антонимы, тогда как в основном значении они совместимы как обозначения частей местности) [15]. Происходит смысловая поляризация, распространяющаяся на субъекты высказываний. Фактически именно этот феномен энантиосемии отмечается исследователем творчества Тютчева: «Всякое положение у него раскалывается надвое, и образовавшиеся половинки, в свою очередь, опять раскалываются» [10, с. 99]. Источником таких семантических метаморфоз оказывается отмеченная амбивалентность меронимии, как, например, это обыграно в тютчевской эпиграмме по поводу тургеневского «Дыма», характеризующему «смрадным дымом» в противоположность цитате «дым отечества» («И дым отечества ...», 1867). Именно энантиосемия приводит к эффектам «совмещения несовместимого» (juxtaposition), заново открытым уже символистами, о которых говорит сам поэт в четверостишии: «Впросонках слышу я – и не могу / Вообразить такое сочетанье, / А слышу свист полозьев на снегу / И ласточки весенней щебетанье» (1871). Здесь «свист полозьев» и «щебетанье ласточки» являются меронимами звукового окружения, размещение которых оказывается сдвинутым по времени в сонном воображении. Микроскопическое деление предмета поэтического повествования приводит к возникновению антитез на основе меронимов.

Здесь оказывается актуальным внутренне противоречие субъектности, простирающееся из ее обособленности, частности, ограниченности: часть всегда противопоставляется как иным частям, так и включающему их целому. Обособление всегда предполагает дополнение, отрицание, вводя тем самым момент негативности. Так вводится диалектика части и целого, которая во времена Тютчева разрабатывалась герменевтикой как учением о толковании текста через переходы от подробности к цельности и обратно (т.наз. герменевтический круг). На этой основе уже в XX в. сложилась мереология – направление теоретической логики, исходившее из того,

что всякое целое обращается в часть объемлющего целого, а пределом оказывается уже тотальность. Поэтому часть, с одной стороны, является более общим понятием, чем целое, а с другой, ее обособление определяется функцией в целом. В свете мереологии отмеченное выше превращение меронимов в антонимы, поляризация их значений становится фактором активности или созерцательности субъекта. Такую продуктивность противопоставления деталей демонстрирует стихотворение «Есть в осени первоначальной /Короткая, но дивная пора.» (1857). Единственным агенсом здесь может представиться серп («Где бодрый серп гулял и падал колос» – 5-я строка), но подразумевается, что он пассивный субъект, направляемый рукой жнеца. Настоящим действенным субъектом оказывается то, что стоит за «дивной порой», представленной рядом частных, несущих в себе конфликтный заряд. «Теперь уж пусто все», «Пустеет воздух» – настойчиво подчеркивается пустота как провозвестница грядущей зимы. Но «чистая и теплая лазурь» как бы согревает прошлым, характеризуемым ситуативными синонимами, фигурой гендиадес. «И лучезарны вечера», «паутины тонкий волос» – все это указывает на неустойчивость, хрупкость бытия. Представляются детали, указывающие на промежуточность, скоротечность «дивной поры», на двойственность самого субъекта повествования.

Всё сказанное об эргативной, созерцательной субъектности и сопутствующем дуализме особенно наглядно иллюстрирует «безглагольного» стиля [2], основанного на чисто именных оборотах, в частности – назывных предложениях. Одним из образцов этого в тючевской лирике является «Волна и дума» (1851): «Дума за думой, волна за волной – / Два проявленья стихии одной: / В сердце ли тесном, в безбрежном ли море, / Здесь – в заключении, там – на просторе, – / Тот же все вечный прибор и отбой, Тот же все призрак тревожно – пустой». Здесь обозначения частных выстраиваются в целый ряд антитез. Ситуативными антонимами становятся «сердце» и «море». Но именно в таком превращении обнаруживается и старый принцип *coincidentia oppositorum* ‘совпадение противоположностей’. Именно «призрак», отсылающий к архетипу «жизнь как сон», оказывается ведущим субъектом, объявляющим о себе в заключительной строке. Активность или пассивность его, переходы между «прибоем и отбоем» определяют те антитезы, которые обрисованы деталями повествования.

Рассмотренные метаморфозы субъектности подводят к еще одному истоку тютчевского поэтического мышления. Если роль шеллингианства освещена довольно широко, то значительно меньше внимания уделялось ещё одному философскому течению – казуистике как основе стиля барокко. Между тем достаточно сослаться на два примера, свидетельствующие об интересе поэта к XVII веку. Во-первых, это перевод четверостишия Я. Бёме («Кто Время и Вечность / В себе совместил, / От всякого горя / Себя оградил») [6]. Дата этих строк – 1860-е гг., однако значительно ранее у поэта появилась строка, вполне укладывающаяся в дискурс барочных парадоксов: «Всё во мне, и я во всём» («Тени сизые смешались...», 1836). Во-вторых, это использование в заключительной строке стихотворения «Певучесть есть в морских волнах ...» (1865) известного образа Б. Паскаля: «И ропщет мыслящий тростник?». Показательно и то, что во время написания данных стихов вернулась полемика против католицизма («Епископа», 1865, «Свершается заслуженная кара ...» в честь гарибальдийцев, 1867, и особенно «Гус на костре» в ответ на 1-й ватиканский собор, 1870). Но уже двумя десятилетиями ранее публицистика Ф. И. Тютчева свидетельствует о его осведомленности в вопросах казуистики: не только отмечалась «антикатолическая направленность» его полемики, но и сочинение поэта подавалось как «отмеченное печатью протестантизма» [8, с. 235, 238]. Присутствие опыта казуистики и барокко в целом сказывается не только в повсеместных антитезах и унаследованном от барокко сентиментализмом культом меланхолии (в частности, барочного *memento mori*), но и в особенности в самой двойственной трактовке субъекта, где прослеживается казуистическая доктрина существования двух благодатей – действенной (*gratia efficax*) и дарованной (*gratia donata*) [14]. Наглядным подтверждением знакомства с такими понятиями является знаменитое четверостишие: «Нам не дано предугадать, / Как слово наше отзовется, – / И нам сочувствие дается / Как нам дается благодать» (1869). Здесь ясно определено, что человеку дано, и что не дано и находится вне его «поля ответственности». Проблематика возможностей субъектного действия очерчена даром благодати, а тем самым затрагивает вопросы фатализма – предмет дискуссий эпохи казуистики. В четверостишии фатального предопределения нет потому, что дано «сочувствие»,

противостоящее невозможности «предугадывания». Именно диалектика микроскопических конфликтов, а не фатум, определяет ход событий.

В свою очередь, восходящие к казуистике дискуссии о фатализме восходят к еще более древним натурфилософским корням, на которые указал Б. М. Козырев – к античной милетской школы, в частности, к учению Анаксимандра: у Тютчева «хаос ... назван также беспредельным, а «беспредельное» – «апейрон» – есть термин Анаксимандра» [5, с. 104]. Но еще существенней то, что «противоположение вечной и неувядаемой стихийной жизни природы скоротечному, бесследно исчезающему индивидуальному бытию – есть не что иное, как многообразно варьируемое выражение Анаксимандрова закона возмездия» [5, с. 104]. Уже обсуждавшаяся в связи с шеллингианством обреченность всего обособленного, то, что ныне известно как второе начало термодинамики (закон роста энтропии в замкнутой системе), обосновывается тем, что «вещь стремится нарушить чужую меру» [5, с. 105]. Эти мотивы столь глубоко разработаны в тютчевском «Денисьевском цикле», что Б. М. Козырев восклицает: «Да, Анаксимандр воистину воскрес после смерти Денисьевой!» [5, с. 124]. Следовало бы также указать на еще одно посредствующее звено между античностью и новым временем, актуальное для наших вопросов: это – учение Августина Блаженного о свободном выборе как истоке рисков грехопадения, сыгравшее значимую роль в развитии протестантизма. Именно к этому учению прямо отсылают следующие строки из уже упоминавшегося (в связи с Б. Паскалем) стихотворения: «Невозмутимый строй во всем, / Созвучье полное в природе, – / Лишь в нашей призрачной свободе / Разлад мы с нею сознаем» («Певучесть есть ...», 1865). Здесь не только воссоздан августинианский тезис о «призрачной свободе», но и приводится кантовский термин «разлад» (нем. Spalt, букв. 'расщелина') как результат субъектной активности. Но осознанный разлад предполагает противостояние и преодоление, чем отвергается предопределение.

Тезис об обреченности всего индивидуального, обособленного как предпосылка проблематики фатализма представлен в аллегории человеческих жизней как льдин на реке, неминуемо тающих и вливающих в море небытия: «Все вместе – малые, большие, /



Утратив прежний образ свой, / Все – безразличны, как стихия, – / Сольются с бездной роковой!» («Смотри, как на речном просторе...», до 1851). Примечательно тут указание на тотальность (дважды повторенное «все») как на предел субъектной самостоятельности. Далее, в заключительной строфе «человеческое Я» определяется как «обольщение» и прямо называется направляющая бытие сила – «судьба». Субъектность как лёд, тающий «неизбежимо», причем постоянно, в том числе «в поздней темноте» мыслится фатально предопределенной, лишенной активности. Здешний субъект – это субъект эргативный, и он очерчивается антитезой – противопоставлением реки (со льдом индивидуальностей) и моря небытия.

Очень значимым для понимания тютчевского толкования фатализма и особой роли антитез является знаменитое стихотворение «Два голоса» (1850). А. И. Неусыхин сопоставил его с «Песнью Судьбы» Ф. Гельдерлина, где «совершенно отсутствуют тютчевские мотивы борьбы и молчащей природы» [9, с. 545], и кратко суммировал систему антитез: «В целом стихотворение дает трихотомию: бессмертные блаженные боги – борющиеся люди – молчаливая природа. Но в конце появляется нечто новое – Рок». При этом, в отличие от немецкого образца, у Тютчева «стихотворение соткано из тончайших нюансов», т.е. решающая роль достается детализации [9, с. 544]. Ввиду такой роли уместно напомнить последнюю строфу: «Пускай олимпийцы завистливым оком / Глядят на борьбу непреклонных сердец. / Кто, ратуя, пал, побежденный лишь роком, / Тот вырвал из рук их победный венец». Б. М. Козырев, опровергая представления об «олимпийском спокойствии», язвительно заметил: «Олимпийцы вовсе не блаженствуют, а завидуют» [5, с. 88].

Ключевой деталью тут является последнее слово – «венец», который «вырвал из рук» олимпийцев борющийся человек. Значит, противостояние ведется не только с роком, но и с олимпийцами, более того, оно ведется ради венца. Далее, третий из перечисленного ряда антагонистов, природа, в известном позднем четверостишии получила скептическую аттестацию: «Загадки нет и не было у ней» («Природа – сфинкс ...», 1869). В свою очередь, натурфилософский манифест «Не то, что мните вы, природа...» (1836) из раннего периода творчества также отвергает «безмолвные звездные круги». И наконец,

в еще одном источнике – стихотворении памяти Е. А. Денисьевой – поэт в ее облике представляет того, кому достается венец: «По ней, по ней, судьбы не одолевшей / Но и себя не давшей победить» («Есть и в моем страдальческом застое», 1865). Здесь противоборство с роком завершается даже не победой его неодолимой силы, а, так сказать, вничью. Система антитез возбуждает субъектную активность, отвергая фатализм.

В тютчевском наследии имеется также прямая полемика против фатализма. Уже на исходе творческого пути провозглашается оптимистический тезис: «Не всё, что здесь цвело, увянет, / Не всё, что было здесь, пройдет!» («Чему бы жизнь нас ни учила ...», 1870, посвящено А. Вас. Плетневой, урожденной Щетининой). Поэт вступает здесь в спор с самим ветхозаветным Соломоном, более того, отрицание тезиса «всё пройдет» объявляется достоянием «веры для немногих», для тех, кому «доступна благодать». Более того, благодать эта дарована тем, «кто душу положил за други», следуя новозаветному установлению.

Таким образом, архаический, языческий рок, фатум для Ф. И. Тютчева недействителен. Более того, обстоятельства проти-востояния «человек – рок» показывают, что сам рок может оказываться рукотворным результатом коллизий. Об этом говорит «Предопределение» (до 1852) из «Денисьевского цикла», где «поединок роковой» и его исход проистекает из самой субъектной активности, а не возникает как внешняя сила: «И чем одно из них нежнее / В борьбе неравной двух сердец». Предполагается именно различие и противостояние «сердец», где одно оказывается «нежнее», так что именно дифференциация присущих субъектам действия деталей, их противостояние, а не внешний фатум, определяют «поединок».

Замечательная чуткость к противоречиям предметного мира, высвечивание субъектно-объектных противопоставлений за мельчайшими подробностями – вот что составляет основу для определения активности субъекта. Микроскопические конфликты, раскрываемые детализацией, сдвигают неустойчивое равновесие между созерцанием и действием. Определяющим в этом отношении для Ф. И. Тютчева можно считать то понимание субъекта, которое выражено в обращении к самому себе: «О, вещая душа моя, / О сердце,

полное тревоги, / О как ты бьешься на пороге / Как бы двойного бытия» (1855). Пороговая ситуация и двойственность относятся именно к данному неустойчивому равновесию, о чем далее и говорит противопоставление «Твой день» – «Твой сон», которым вводятся «страсти роковые». Именно выявление противоречий в частности (в данном случае – антитеза сна и бдения) становится реальной основой того, что представляется роком. Противоречия предметного мира, логика вещей оказывается основой субъектной активности или пассивности.

О том, как видится поэту субъектная самостоятельность в свете соотношения логики вещей и логики намерений, свидетельствуют строки из посвящения князю А. М. Горчакову в честь достигнутой им дипломатической победы: «Счастлив, кто точку Архимеда / Умел сыскать в себе самом, – / Кто, полный бодрого терпенья, / Расчет с отвагой совмещал, / То сдерживал свои стремленья, / То своевременно дерзал» («Да, Вы сдержали Ваше слово ...», 1870). Здесь нет однозначного определения субъектной активности или пассивности – все определяет противопоставление деталей: расчета и отваги, сдержанности и дерзновенности. Но решающим, исходным, является именно «точка Архимеда», основа субъектности, позволяющая осуществлять постоянные переходы между созерцанием и действием.

Итак, субъект находится в состоянии неустойчивого равновесия между действием и созерцанием, а сдвиг в ту или иную сторону определяется коллизиями микроскопических деталей. Противопоставления частных, превращение меронимов в антонимы обозначает условия, в которых представляются субъектно-объектные отношения и, далее, решаются проблемы фатализма и активности субъекта, выбор между *vita activa* ‘действенная, активная жизнь’ и *vita contemplativa* ‘созерцательная жизнь’. Именно противоречия предметного мира выводят силы личности, делают возможной и необходимой борьбу, то ратоборство, которое и позволяет «вырвать победный венец» «из рук олимпийцев». Такова «диалектика вещей», раскрываемая лирикой Ф. И. Тютчева.

### Список использованной литературы:

1. Бондарко, А. В. Анализ элементов текста в системе функциональной грамматики / XV Міжнародны з'езд славістаў. (Мінск, Беларусь, 20–27 жніўня 2013 г.). – Мінск : Беларуская навука, 2013. С. 123–124.
2. Галди, Л. Стилевые особенности романтической поэзии романских стран // Европейский романтизм. – М. : Наука, 1973. С. 352–423.
3. Кант, И. Критика чистого разума. / И. Кант. // Соч. в 6 т. Т. 3. – М. : Мысль, 1964. – С. 69–756.
4. Кожин, В. В. Тютчев / В. В. Кожин. – М. : Молодая гвардия, 1988. – 496 с.
5. Козырев, Б. М. Письма о Тютчеве / Федор Иванович Тютчев – (Литературное наследство. Т. 97. Кн. 1.). – М. : Наука, 1988. – С. 73–127.
6. Кузина, Л. Н. Из Якоба Бёме / Федор Иванович Тютчев – (Литературное наследство. Т. 97. Кн. 1.). – М. : Наука, 1988. – С. 178–179.
7. Лосев, А. Ф. Знак. Символ. Миф / А. Ф. Лосев. – М. : Изд. Московского университета, 1982. – 482 с.
8. Лэйн, Р. Публицистика Тютчева в оценке западноевропейской печати конца 1840-х – начала 1850-х годов / Федор Иванович Тютчев – (Литературное наследство. Т. 97. Кн. 1.). – М. : Наука, 1988. – С. 231–252
9. Неусыхин, А. И. (Публикация Е. А. Огневой-Неусыхиной) Тютчев и Гельдерлин / Федор Иванович Тютчев. – (Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2.). – М. : Наука, 1989. – С. 542–547
10. Погорельцев, В. Ф. Психология творчества Ф. И. Тютчева / В. Ф. Погорельцев. – Брянск : Брянское СРП ВОГ, 2009. – 184 с.
11. Попов, П. С. Состав и генезис «Философии искусства» Шеллинга / Шеллинг, Ф. В. Й. Философия искусства. – М. : Мысль, 1966. – С.5–18.
12. Шеллинг, Ф. В. Й. Философия искусства / Ф. В. Шеллинг. – М. : Мысль, 1966. (Философское наследие. Т. 20). – 496 с.
13. Шеллинг, Ф. В. Й. К истории новой философии (мюнхенские лекции) / Шеллинг Ф. В. Й. Соч. в 2-х т. Т. 2. – М. : Мысль, 1989. (Философское наследие. Т. 102). – С. 387–560.
14. Шмонин, Д. В. В тени Ренессанса: вторая схоластика в Испании / Д. В. Шмонин. – СПб. : Изд. С.-Петербургского университета, 2006. – 278 с.
15. Юдкин-Рипун, И. Н. Меронимы как источник пословичных антитез / Общая и русская фразеология: из прошлого в будущее : материалы Международной научно-практической конференции, посвященной памяти доктора филологических наук, профессора Валентина Ильича Зимины, г. Москва, 26 ноября 2021 г. / под общ. ред. О. И. Авдеевой. – М. : МПГУ, 2022. – С. 422–430.
16. Юдкин-Рипун, И. Н. Детализация портрета в сонете как монодраме: «Медальоны» Игоря Северянина / Родная словесность в современном культурном и образовательном пространстве: сб. науч. тр. / ред. Е. Г. Милюгина. – Тверь : Тверской. гос. университет, 2021. Вып. 10 (16). – С. 16–22.
17. Yudkin-Ripun, I. N. Onomastics and meronymic devices in sonnet as monodrama: L. Staff and R.M. Rilke / Мова і культура – Язык и культура. Т. 200. – Київ : Бураго, 2020. – С. 382–388.